

О. Олесь.

* * *

Як тихо скрізь!.. Заснули доли
І полощина в тиші спить...
Не зашумить шовкове поле,
Ніде листок не затремтить...
Хотів би так і я заснути,
Та серце зранене моє
Усе ще з келиха отрути
Останніх крапель не доп'є.

* * *

Фіялки сліпий продає:
„Візьміть хоч за хліба ковалок“!..
Ах, серце розбите моє
Те-ж повне пахучих фіялок.
Вони не почули благань,
Не кинули хліба сліпому...
О, серце розквітле зів'янь —
Фіялок не треба нікому!

Петр Крюков.
(Болгария).

РОДИМЫЙ ЗВУК.

Как звон струны, щемящий сердце болью,
Как нежный стон страдалиц матерей, —
Несется звук по старому Запольшю
И будит он простор Донских степей.

Как шум волны реки, покрытой вечной славой,
Как сказ колеблемого ветром ковыля, —
Звенит, переливается, летит незримой лавой,
И гулом звука полнится земля.

Как жаворонок песнь хвалебная раздолью
Родных полей вещает юный май —
Звенит, переливается по старому Запольшю
Волшебный звук: — Родимый, милый Край!..

Санжа Балыков.

Четыре встречи.

В станице Батлаевской было освящение нового храма — „семе“.

Этот храм стал самым лучшим из храмов всех калмыцких станиц. Весь кирпичный, высокий, просторный и красивый, гордо возвышался он над небольшой станицей.

Освящение храма привлекло калмыков со всех тринадцати станиц. Хурульнос духовенство, под руководством самого Ламы донских калмыков, служило торжественный молебен.

Однообразно, монотонно басили гилюны, тоненькими и рекакими голосами вторили манджяки, сверкая на солнце бритыми головами. Мощно и своеобразно, красиво для слуха калмыков, пел бюре-бишкур, заливалась флейта-дунг, гремели данг — медные тарелки...

Вокруг духовенства тесно сидят тысячи пестро разодетых мряян, заполняя хурульный двор. Молитвенно сложены руки. Уста шепчут — „ум мани бадме хом“...

Июльское солнце немилосердно печет обнаженные головы молящихся.

Но вот молебен окончен. Сперва священники, а потом мряяне стали подходить под благословение Ламы. Все встало. Стало тесно и душно.

Высоко держа в руке картуз, оглядывая окружающих, медленно двигался Джисан в сторону Ламы, прижатый со всех сторон горячими и потными телами. Ему, двадцатилетнему парню, давка не была тяжела.

Взор Джисана остановился на рослой и широкоплечей фигуре девочки в белом чесучевом, хорошо сшитом, бешмете. Незнакомка была недалеко от него и, обливаясь потом, тоже двигалась к Ламе. Джисан всмотрелся. Широкий нос, почти исчезающий в переноси, скуластое лицо, мясистые губы не делали ее красивой. Но сзетлый, не калмыцкий цвет лица, яркий румянец на щеках, — выделяли ее из окружающих смуглых лиц. А большие черные внимательные глаза, черные брови, приятная улыбка, которая показывала ровные, большие, удивительно белые зубы, сглаживали первое впечатление от ее наружности.

При более внимательном взгляде она показалась Джисану милой и привлекательной. Вдруг глаза ее встретились с глазами Джисана. В несколько мгновений она пристально осмотрела его высокую фигуру.

Джисан медленно, но упорно начал принимать в сторону и скоро очутился вплотную рядом с ней.

Едва заметная улыбка промелькнула на ее губах.

Помолчав немного, потеряв шлатком пот с лица, он шопотом, направляя слова прямо ей в ухо, спросил:

— Какой вы станицы, сестра?

— Бурульсгой... вы не узнаете меня, я вас знаю по Чепраку.

— Не помню вас... я почти не бывал в пансионе наших учениц...

— Зато перед окнами прохаживались каждый день, — с улыбкой встала она.

— Ну, значит мы знакомы. Как ваше имя, — спросил Джисан.

— Чванал, — тихо прошептала она и шевельнула пальцами опущенных рук.

Джисан догадался и успел пожать кончики ее пальцев.

Подпираемые толпой, они незаметно подошли к Ламе. Прервав разговор, стали подходить под благословение и потеряли друг друга из виду.

В это время в стороне от хурула станичный атаман, высокий смуглый калмык, с кучерявыми, как у цыгана, волосами, выравнивал тридцать лошадей, участвующих в скачке на „храмовой“ приз в сто рублей. Уловив момент, когда горячие лошади сравнительно выравнивались, атаман громко крикнул: „пошел!“ Щелкнули плети, звякнули стремяна и, подвывая облако пыли, лошади кучей ринулись в степь и скоро скрылись из виду.

Скачка была на пятнадцать верст.

До возвращения скакунов, стали вызывать борцов от станиц. Денисовская станица вывела молодого, но уже успевшего сделаться в своей станице популярным борцом, Доржу Ашланова. Ему пришлось бороться с местным силачом, неуклюжим Бурче.

Раздетых борцов, с засученными до колен нанковыми кальсонами, накрытых черными покрывалами, вывели на середину большого круга.

Подведенные друг к другу, борцы схватились.

Доржа взял за пояс через плечо и нагнул Бурче. Завозились, закрутились.

Публика вдруг ахнула... Ноги Бурче высоко замелькали и, описав в воздухе круг, с силой шлепнулись о землю. В ту же секунду Доржа уже лежал на нем и крепко давил локтем в грудь. Бурче лежал и не шевелился.

Тихо зашумели зрители, зароптали и загорячились местные, шум одобрения пошел в стороне Денисовцев.

Доржа встал, а Бурче лежал в обмороке.

Победитель подошел к Ламе и три раза земно поклонился. Лама благословил и дал золотой пятирублевник и белый платок.

— Едут, едут, — закричали вдруг. Публика бросилась к воротам хурула. Возвращалась скачка.

Рослый рыжий красавец Очира Сокунева Денисовской станицы, далеко бросив остальных, свободно пришел впереди. Из тридцати участников этой скачки обратно пришли около десяти. Три лошади пали. Остальные, видя бесполезность скачки, вернулись с полпути.

Денисовцы торжествовали. Слава о Дорже Ашланове и о лошади Очира Сокунева должна была разнестись по всем тринадцати станицам.

II

Был 1920 год.

Стояли январские дни с сильными ветрами и холодными дождями. По размытой, черноземной дороге на Кубани шли разрозненные, хмурые, промокшие небольшие части белой армии.

По этой же дороге, попеременно с войсками, шли многочисленные подводы беженцев донских калмыков, спящих при приближении красных с веками насиженных мест и пустившихся в неведомое странствие от стара до мала, со всем домашним скарбом и скотом. Скот и скарб давно были брошены, и калмыки теперь уже были нищие.

Сотник Джисан Шулаков, из рядов Калмыцкого Зюнгарского полка, с болью в сердце смотрел на страдания и гибель своего, так недавно беззаботного и богатого, народа.

Иные с полстяжными будками на возилках и мокарах, другие на бричках и дрогах, многие пешком, кое-кто верхами, голодные и изнуренные, тянулись его сорочи, увязая в липкой грязи. Весь их путь был отмечен свежими следами смерти, нечеловеческих страданий. Не видя крона ни днем, ни ночью, грязные и завшивевшие, шли они, стараясь не отстать от частей войск.

С непроницаемо равнодушными лицами, без ропота на Бога, покорно перенося несчастья, упорно шли они вперед, не зная сами куда.

Тиф свирепствовал среди них.

Павшие от истощения лошади, быки, верблюды, брошенные подводы с вещами калмыцкого хозяйства, умершие и брошенные без погребения люди, наконец, кое-где полуживые, оставленные у дороги за невозможностью дальше везти, — отмечали путь многострадального народа.

Там маленькая девочка, увязая в грязи, вела в поводу исхудалую лошаденку, на которой с трудом держалась больная тифом мать. Здесь мальчуган правил царой лошадей в бричке.

Мальчик радовался, что отец его, все время стоявший и бредявший, наконец уснул и вот уже целый день лежит без движения и без звука...

Обычно шумные и веселые, Зюнгарцы притихли и приуныли, видя муки своего народа.

Многие казаки отделялись от полка и присоединялись к своим беспомощным семьям. Иные присоединяли членов семьи к полку.

На лицах многих закаленных в боях Зюнгарцев видны были слезы. Чтобы скорее провести полк мимо этого кошмарного зрелища, командир полка повел Зюнгарцев рысью.

Уже редела беженская колонна, когда Джисан заметил рослую девушку в черном кафтани, в высоких больших сапогах, с длинным кнутом в руке шагающую рядом с быками, еле тащившими возилку. Он без труда угадал в ней Чавлан, с которой четыре года тому назад познакомился при иных обстоятельствах.

Джисан выехал из рядов полка и подъехал к ней.

Она угадала его, и ее чудные глаза как будто засверкали радостью.

— Здравствуйте, Чавлан, как дела?

— Плохо... быки устают, мать больна... я одна.

— Знаете, Чавлан, мне сейчас некогда, но мы, наверно, станем на ночь в той станице, которая уже недалеко перед нами, я встречу вас на дороге. Мы вече-

ром придумаем, как быть вам дальше, у меня в полку есть еще свежая заводная лошадь... Ну, так согласны принять мою услугу?

— Хорошо... встречайте.

— Так, а пока до свидания...

Они протянули руки, глаза обоих были полны слез. Зюнгарский полк, не останавливаясь, прошел ночью дальше. Чавлан и Джисан не увиделись.

Тревожные мысли о Чавлан часто шемились тех пор сердце Джисана.

III

Белая армия, преследуемая красной, дошла до Черного моря и начала беспорядочно грузиться на пароходы в разных портах.

Большая часть беженцев калмыков не дошла сюда. Старые, больные и безлошадные, отставая по пути, разновременно были захвачены большевиками, у которых подвергались новым мукам издевательства и насилия. Но и избежавшим этой участи мало было радости.

Командование белой армии было занято спасением собственных шкур, во-первых, и заботой о своих надежных частях, во-вторых. О каких-то беженцах, да еще калмыках, думать было некому.

Пройдя тяжкий путь страданий, только благодаря своему упорству и выносливости дойдя до этой заветной черты, они должны были остаться здесь и попасть в руки сурового врага, не имея возможности переплыть море. Только немногим калмыкам случайно удалось попасть на пароходы. Нашлись и такие, которые предпочли морское дно ужасам плена.

Калмыцкий Зюнгарский полк грузился у Нового Городка за Адлером. Здесь были только Донские части и погрузка проходила спокойно. Грузились здесь и не многие подоспевшие беженцы калмыки.

Выходу Джисана выпало грузиться в числе первых. Лодка, управляемая матросами англичанами, быстро улалялась от берега, направляясь к далеко стоявшему большому пароходу, когда с берега донесся до слуха Джисана женский крик:

— Джиса-а-ан!

Джисан оглянулся, и на берегу, в теснившейся группе беженцев, зоркий глаз его узнал светлое лицо Чавлан. Она стояла у самой воды и что-то видимо кричала ему.

Джисан беспомощно развел руками и показал на пароход.

До самой темноты, до конца погрузки стоял Джисан на борту парохода, все поджидая, не подвезут ли сюда Чавлан. Англичане размещали людей на пароходы по своему усмотрению, и Чавлан не попала на этот пароход.

В Крымских портах пароходы выгружали людей разновременно и даже в разных портах, и Чавлан и Джисан не увиделись и при выгрузке. Зюнгарский полк, отдохнув немного в одном из сел Крыма, пошел на фронт.

Четыре месяца прошло в частых и кровавых боях. Жертвы калмыцкого народа увеличились еще сотней убитых и искалеченных его сынов. Калмыцкий полк до конца исполнял свой долг перед Доном.

Джисан получил известие, что Чавлан выехала в Крым и находится при детях сиротах в Евпатории. Он несколько раз пытался поехать в отпуск к ней, но каждый раз получал от командира полка обещание и просьбу подождать.

Красные загнали белых сперва в Крым, а потом ворвались и в это „гнездо белых“.

Белая армия кинулась к портам и опять спешно стала грузиться.

С армией Врангеля на разных пароходах выехало за границу больше трех тысяч калмыков. Не меньше их осталось и в Крыму, не успев на погрузку.

Зиму 1920 — 21 года калмыцкий полк провел в лагере Кабакджа в Турции. В норах, вырытых в сырой земле и накрытых землей же, прозимовали здесь калмыки, терпя холод и голод.

Джисан не имел никаких сведений о Чавлан. Наконец, к весне он получил известие, что она в Болгарии и уже вышла замуж.

Смутные надежды Джисана погасли. Он немедленно покинул полк и с партией своих Зюнгарцев поступил в обоз английской армии в Турции.

IV

Через два года Джисан поехал в Болгарию.

В первом же большом городе, увидев на станции своих станичников, Джисан слез с поезда и остался здесь. Обрадованные станичники привели его к себе на квартиру.

Джисан у колодца смывал с лица дорожную копоть, когда проходила мимо него женщина высокого роста, в серой вязанной шерстяной жакетке. Он взглянул и взоры их встретились.

Чавлан покраснела и, едва слышно ответив на приветствие, ускорила шаги.

Войдя в хату, Джисан узнал от жены своего станичника, что у Чавлан двухлетний ребенок и что ожидается еще.

„Никакого разговора быть не может... она права, никогда между нами не было определенных разговоров... дай Бог ей счастья... я уеду дальше“... — думал про себя Джисан, вытирая мокрое лицо.

Прошло три — четыре дня.

Джисан, побродив по городу, возвращался на квартиру. Ходить было далеко. Проходя через городской сад, он присел на скамейку в тени дерева отдохнуть.

Был жаркий день ранней осени, и еще приятно было, наморившись, посидеть под тенью.

Раздались шаги и мягкий женский голос произнес:

— Что это вы так мрачно задумались, не нравится вам Болгария? — Подходила Чавлан с каким-то узелком в руке.

— А, это вы... видите, сел отдохнуть и задумался, — отвечал Джисан, отодвигаясь на скамье.

— Нет, вставайте, идемте потихоньку... на ходу я лучше говорю.

— А, вы хотите много говорить? — шутливо заметил Джисан, вставая.

— Вы думаете нам не о чем?...

— Нет почему же не поговорить. Мы давно знакомы... расскажите, как выехали за границу, как жили и живете, впрочем, последнее ясно: вы счастливы.

— Выехала я в кошмарных условиях. Жила ужасно. Голодала, болела, была одна... и вы ошибаетесь, что я теперь счастлива. — сказала она и замолчала.

Молчал и Джисан.

— Вы предположили, что я счастлива, — начала она после продолжительного молчания, — увидев, что у меня муж, ребенок, что я обута, одета, не правда-ли?

— Да, — отвечал Джисан.

— Нет... я несчастлива. Мужа не только не люблю, но даже не уважаю. Он женился на мне благодаря исключительно безвыходному моему положению. Как хотите судите меня, но умереть в двадцать три года я не сумела... Неужели вы думаете, что для счастья молодой интеллигентной женщины достаточно куска хлеба, нового платья, какого-нибудь мужа и ребенка? — спросила Чавлан.

— Я ничего не думаю, и не знаю, чем могут быть счастливы женщины, вам, пожалуй, это видно... Одно могу сказать, что ваше несчастье меня печалит. Я был бы рад, если бы вы были счастливы, жаль... знать ваша судьба была такова, поживете — привыкнете.

— Вон ты, что говоришь, — протянула она, переходя на „ты“, — а я думала иначе. Думала, что ты приехал ко мне...

— Гм... почему же? — пробормотал Джисан.

— Не знаю, может я ошибалась, мне всегда казалось, что мы... я с тех пор, как мы познакомились, часто думала о тебе...

Глаза ее увлажнились и она умолкла.

— Чавлан, — дрогнувшим голосом заговорил Джисан, — вы не ошиблись. У меня в мыслях никого не было, кроме вас, но теперь поздно об этом говорить. Вы уже связаны. Я решил владеть одинокою жизнью.

— Я это знала, что ты не согласишься со мной, с замужней женщиной, и уедешь молча, и потому, как это ни стыдно, решила сама начать. Я уйду от мужа, ребенок не жилец на свете, он рахитичен... да и сама я недолго проживу. Божество не прошло даром. У меня туберкулез и, кажется, скоротечный. Знаю, что недолго мне жить. И вот потому хочу хоть один год, полгода, месяц пожить с любимым мужем... с тобой.

Не ожидавший такого рода разговора, Джисан опешил.

Они долго шли молча.

Наконец Джисан сбиваясь начал:

— Я рад и если ты, женщина, идешь на такую жертву, мне ли чего бояться для своего же счастья! Я готов. Только нужно обставить так, чтобы было меньше шуму.

— Не бойся, я уйду к своей родственнице, которая давно хочет, чтобы я ушла от мужа. Через месяц рожу вот другого ребенка, отдам и его им и я свободна. Чтобы не вызывать подозрений, ты завтра же уезжай в Софию. Ну, довольно, мы уже пришли домой, и так наша четвертая встреча будет последней.

— Почему? — спросил Джисан.

— Потому что мы теперь не расстанемся, — проговорила она и свернула в сторону своей квартиры.

Джисан на другое утро с первым поездом уехал в Софию.

Не прошло и недели, как разнеслась весть, что Чавлан уходит от мужа. Шло все же не утаилось и мешке. Скоро многие шептались о причине такого внезапного развода и, упоминая имя Джисана, не ошибались.

Чавлан, несмотря на слезы и мольбы мужа, на его угрозы, ушла от него. Через три — четыре недели родила больного ребенка и, после родов, не вставая, легла в больницу.

„Я слегла в больницу. Не знаю, поправлюсь ли. Если к весне выйду отсюда, то мы, значит, проживем с тобой, но чувствую, что болезнь съедает меня. Дети мои умерли, но не столько думаю о них умерших, сколько о тебе желанном, хотя знаю, что они — часть моей души и тела. Не печалься много. Может Бог и благословит нашу любовь. Ибо все от Бога. Не было бы воли Его, мы не полюбили бы друг друга с первой встречи и так крепко.“

Деньги больше не присылал. Что прислано, — пока достаточно. Береги себя на работе для меня. Я так похудела, что кольцо, которое ты надел на безымянный палец, не держится и на большом.

Чтобы ни случилось, знай, что я искренно тебя любила и умру с твоим именем на устах и до конца буду благодарить тебя за твою любовь. Твоя Чавлан“.

Читал Джисан, идя по улицам Софии, и крупные слезы текли по его щекам.

Через два месяца Джисан приехал в больницу, где лежала Чавлан.

Тихий майский день клонился к вечеру.

Джисан сидел на могиле Чавлан и в еще свежую глину втыкал ромашки и разбрасывал мяту.

Сумерки сгустились, было уже почти темно, когда Джисан ушел с болгарского кладбища...

Ранее вышедшие номера журнала, вследствие ограниченного их количества в редакции, впредь будут высылаться исключительно за плату.